

ДОСТОЕВСКИЙ – СЫН ВРАЧА

«Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные, пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы?»
(Мф: 9, 12–13)

Достоевский родился и вырос при московской Мариинской больнице для бедных в семье лекаря – факт биографии, за которым скрывается не открытая еще в его судьбе человека и писателя мирозерцательная глубина.

Что подразумевал он под «лучшими людьми», относя к ним своих родителей? «Идея непререваемого и высшего стремления в лучшие люди (в буквальном, самом высшем смысле слова) были основною идеей и отца и матери наших, несмотря на все уклонения» (29₂; 76). Письмо об этом младшему брату написано в период, когда определилось для него понятие «лучшие люди» и отразилось в «Дневнике писателя» за 1876 г. (октябрь, гл. II, § III – IV – «Лучшие люди», «О том же»): «лучшие люди – это те люди, без которых и не может и не стоит никакое общество и никакая нация, даже при самом широком равенстве прав», «перед которыми и сам народ и сама нация добровольно и свободно склоняет себя, чтя их истинную доблесть» (18; 153).

Таким образом, в основание нации он ставит не выработанные институты и свободы («права»), а живой, личностный ее состав. Позже, в подготовительных записях к «Дневнику писателя» за 1881 г. он опять говорит о «лучших» и необходимом признании и выдвижении их – добровольном и свободном – народом, но народ пока «безмолвствует» и, если кого и назовет, так это Алексея Божьего человека, Суворова, Кутузова и Гаса. Так среди тех, кто запал в народную память и потрудился на российской почве ради народной пользы, оказался врач, и значение его, немца, подвига перешло национальные границы. Видит здесь Достоевский единящее начало,

рассказывая о другом враче, 84-летнем Гинденбурге («Дневник писателя» за 1877 г., январь, гл. 3, § 1 «Похороны общечеловека», § 2 «Единичный случай»). «Кстати, почему я назвал старичка доктора “общечеловеком?” Это был не “общечеловек”, а скорее “общий человек”». «Пятьдесят восемь лет служения человечеству» – это пожертвования беднякам и спасение людей разных народностей, и народ всем этим «большим губернским городом» [Минск] пришел его хоронить; на известном ему эпизоде писатель мысленно рисует картину: старый врач, немец и протестант, перевязывающий последней снятой с себя рубашкой только что родившегося принятого младенца в бедной еврейской семье. «И вовсе нечего ждать, пока все станут такими же хорошими, как и они, или очень многие: нужно очень немного таких, чтоб спасти мир, до того они сильны. А если так, то как же не надеяться?» (25; 90, 91, 92).

«Единичному случаю» Гиденбурга писатель выставляет прямо противоположный пример врача, «прогрессиста», просчитывающего свою деятельность общим «законом» и «правом», но «право» может исключить личностное самопожертвование и любовь к «другому». И без «единичных случаев» недостижимы и общие «права».

Что касается Михаила Андреевича Достоевского, то сын с ранних лет мог понять суть его «служения». С неисчерпаемым трудолюбием и выносливостью, привитыми еще со студенческих лет в Медико-хирургической академии, и, конечно, с состраданием к больному, он нес свою службу, врачую бездомных бродяг, дворовых, вдов, всех этих

неимущих, безвозмездно принимаемых больницей. «Сегодня я дежурный», – сообщает Михаил Андреевич жене в письме из Москвы в деревню в мае 1835 г., добавляя при этом: «Нового у нас ничего нет, все старое»¹. Ему казалось привычным и рутинным то, что не вмещалось в их границы. «Сравнительная ведомость между Московскою и Санкт-Петербургскою больницами для бедных»² доносит цифры по отделению приходящих больных, при котором состоял Михаил Андреевич: за год было принято 9133 человека. Можно представить, каков был прием «во всякое время суток» (по уставу больницы) у дежурного лекаря Достоевского.

Сын, очевидно, слышал от самого отца о его прошлом, по крайней мере, рассказы о войне 1812 г.

Призванный с четвертого курса академии «по надобности во врачах для пользования больных и раненых» (так в «Послужном списке» М. А. Достоевского) после Бородинского сражения, он спасает многих и многих. Он служит тогда вместе с выдающимся И. Е. Дядьковским, бывшим сокурсником, в Московском Головинском госпитале, где с «христианской любовью», как писал один из современников, принимали раненых. Он в числе врачей во главе со знаменитым лейб-медиком Лодером обеспечивает беспрецедентную эвакуацию из Москвы более 20 тысяч раненых, несколько тысяч из них переправляет через Оку в Касимовский военно-временный госпиталь, за что получает похвальный аттестат. Будучи в Мариинской больнице, Михаил Андреевич, как и прежде на военной службе, оказался среди выдающихся врачей, даже знаменитостей, таких как Х. Оппель (главный врач, 1806 – 1829), А. А. Рихтер (главный врач, 1830 – 1839), А. А. Альфонский, одно время консультант больницы, позднее декан медицинского факультета Московского университета. Оппель окружал себя опытными врачами, и лекарь Достоевский был признан им и пользовался высокой репутацией, что было принято по отношению к врачам Мариинской больницы у москвичей. Среди

сослуживцев Михаила Андреевича были и те, кто не оставлял работу в больнице и Москву во время оккупации ее Наполеоном (Оппель, Рожалин, К. Щировский и др.), некоторые были соседями Достоевских, и Федор хорошо их знал.

Медицинское, лекарское окружение, начиная с отца, создало определенную этическую среду, атмосферу жизни Федора – «служения страждущему человечеству», по словам его двоюродного деда В. М. Котельницкого.

В квартире на Божедомке его принимали как «очень уважаемого родственника» (А. М. Достоевский). Он тоже медик, фармаколог, профессор Московского университета, неоднократно избиравшийся деканом медицинского факультета. В предисловии к возобновленному после войны журналу от Медико-физического общества (первого научного медицинского общества в России, в котором Василий Михайлович занимал должность секретаря внутренней корреспонденции), рекомендуя, «кроме ученых предметов», воспоминания о жизни и трудах, «подвигах и знаниях» некоторых членов Общества, «послуживших непреложной чести наук врачебных», он говорит об их «священном служении страждущему человечеству». В напечатанных в том Котельницкого речах в память Ф. Политковского, А. Данилевского рисуется облик этих известных русских врачей в духе христианской этики. Выпуск журнала В. М. Котельницкого отвечал общему тогдашнему направлению медицинской науки. В изложенной кратко ее истории был поднят авторитет Гиппократов, разумевшего натуру как «главнейшее жизненное начало, коего мы знаем только действия». Не химики, единственно занятые «изысканием новых лекарств», но те врачи, которые «тщательно наблюдали ход натуры», более излечивали больных. В этом свете можно было бы представить и относящуюся к первой половине XIX века деятельность врача-практика Михаила Андреевича Достоевского.

По-московски колоритная фигура деда писателя часто выступает в воспоминаниях в

бурлескной, смеховой атмосфере (в «нанковых бланжевых штанах с фармакологией Шпренгеля под мышкою» и с «провизию из Охотного ряда» – Н. И. Пирогов), снимающей всякий официоз с облика профессора и статского советника. «Священное служение страждущему человечеству» могло происходить и на таком фоне. Впечатления Федора от «добрейшего Котельницкого», как называли студенты своего защитника, возможно, переплавились впоследствии в образе доктора Герценштубе в «Братьях Карамазовых».

А как мог осознавать свое служение лекарь Достоевский? Слова «служение», «страждущие» были весьма употребимы в документах, переписке вельмож, высокопоставленных чиновников, самой вдовствующей императрицы Марии Федоровны, коль они касались богоугодных дел по больницам, приютам и т. д. И эти слова в официозном контексте принимали соответствующий смысл. У Михаила Андреевича «служение страждущим» собственно и было ближайшей и главной составляющей официального бытия его, формализованного подчинения долгу перед «Богом, царем и отечеством». И он слишком ощущал себя частью «форменного порядка» (частое выражение в ранних повестях Достоевского), столь организовавшего жизнь и даже назначение больницы для бедных, хотя бы и при одомашненном ее ведении – до смерти августейшей учредительницы и почетного опекуна гр. Муханова. И, как видно из писем, так зависящий от этого порядка, Михаил Андреевич часто ропщет, обижен и раздражен, если он обойден наградами и пр.

Душевная драма отца Достоевского во многом заключена в несвободной, скованной регламентациями его социальной личности, и она развертывалась на глазах Федора.³ Не это ли впоследствии заставило его с высокой оценкой отца упомянуть об «уклонениях»?

Гуманная цель, изначально приданная бесплатной лечебнице для неимущих, становилась неотделимой от ее казенного уклада. Даже ее монументальный облик, эта гармонирующая архитектурная классика

осознавалась взрослеющим Достоевским как нечто «псевдо» или, во всяком случае, заслоняющее или не разрешающее подлинную драму жизни (в духе «псевдо» оценивал писатель позднее эту красоту зданий больниц, институтов и дворцов в стиле времени Наполеона Первого, очевидно, намекая на жилищное строение; «скучность» и казенность – ассоциация с «форменным порядком»).

Драма уже произошла на больничном дворе: изнасилована каким-то пьяницей девятилетняя подруга детских игр Федора, и ее не удалось спасти. «Самое ужасное преступление», совершенное в нарушение евангельской заповеди, как грех, почти невыносимый для прощения, преследует Достоевского всю жизнь. Страдания страждущих и преступление – лик мира, мира больного, жизнь которого в подчас скрытой его Божественности, дается только силой его врачевания и врачевателей. Так могло постепенно выстраиваться мировосприятие Достоевского. Сила врачевания заключена в проникновении в саму жизнь – телесную, душевную, духовную – «страждущего». Это более сфера единичного врачевания, сфера «единичной милостыни», и об этом говорится в романе «Идиот» (не возникали ли у автора аллюзии с больницей для бедных, служащими медиками, бывшими в упорядоченной системе благотворения?).

«Кто посягает на “единичную милостыню”, тот посягает на природу человека и презирает его личное достоинство. Но организация “общественной милостыни” и вопрос о личной свободе – два вопроса различные и взаимно себя не исключают. Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую» (8; 335). И в продолжение этой мысли развертывается рассказ о докторе Гаазе: «В Москве жил один старик, один “генерал”... Он делал свое дело в высшей степени серьезно и набожно...» Живые детали московской картинки, скорее всего, запомнившиеся с детства.⁴ Их он оживит в себе в 1867 г., когда заедет в

Москву вместе с Анной Григорьевной, незадолго до написания «Идиота» – Воробьевы горы, партии пересыльных арестантов, которых Гааз называл «голубчиками»... «Он говорил с ними как с братьями», он давал деньги, портянки, подвертки... Эти детали, факты документальны. Достоевский слышал о Гаазе, может быть, по городской молве о «святом докторе», от своего деда Котельницкого, состоявшего в одном с Гаазом Медико-физическом обществе, мог видеть его, неизменно сопровождавшего больных арестантов в старую Екатерининскую больницу, дорога к которой от Тюремного замка на Бутырке проходила по Божедомке, под окнами Достоевских. В Москве всегда узнавали старика Гааза, проезжающего в пролетке в поношенном фраке, когда-то процветающего врача-офтальмолога, имевшего каменный дом на Кузнецком, подмосковное имение, фабрику, но в конце концов оставшегося без всего, отдавшего свои средства на постройку и обустройство тюремных больниц, на пожертвования. Старая москвичка, писательница Е. Тур (гр. Салиас), в своих «Воспоминаниях и размышлениях», что печатались в журнале братьев Достоевских, говорила: «Благородство, бесконечная кротость и доброта дышали в каждой черте прекрасного правильного лица. Нам случалось слышать отзывы о нем. Раздав все состояние, он уже не ездил в карете, а, взяв самого бедного из всех московских ванек, совершал переезд свой в Тюремный замок, где сосредотачивалась его истинно христианская деятельность. На него показывали пальцами из окон барских палат: “Посмотрите, – говаривали практические люди, – вот едет безумный Гааз”».⁵ «Безумцем», «юродивым», «утрированным филантропом», смешным чудачком был Гааз и в глазах чиновников, сам служащий медик – главный врач московских тюрем с 1829 г. и вплоть до смерти в 1853 г., бессменный член комитета попечительного общества над тюрьмами под председательством московского генерал-губернатора Д. В. Голицына. Но его деятельность, проекты,

наконец, его стремления и поведение слишком не укладывались в формализованную службистскую систему и принятые «правила». Он домогался и осуществил вполне или частично отмены железного прута, заковывавшего одной шеренгой пересыльных, тяжелых кандалов, изобретя облегченные, опробовав их на себе, он требовал, чтобы не разъединяли семьи, не отторгали детей от пересыльных матерей, он добился сокращенного полуэтапа для отдыха – от Воробьевых гор – не до Богородска, а до Рогожской заставы, он ввел подробное освидетельствование перед отправкой арестантов по поводу их здоровья, за что его обвиняли в том, что он создает «излишние удобства» для преступников. Приступив к своим обязанностям, он нашел московские тюрьмы в тяжелейшем состоянии, «вертепом» назвал Тюремный замок на Бутырке один из инспекторов от императора Александра I; в одной камере, без нар для мужчин, находились и дети, и женщины, горячечные, сыпные больные. В одной из камер Тюремного замка находились 92 арестанта без всякой одежды – она давно истлела. На Покровке Гааз открыл для арестантов больницу, которую народ окрестил «Газовской», для пересыльных он основал больницу на 120 кроватей на Воробьевых горах с православным храмом – его обвиняли в том, что он намеренно, по излишней снисходительности, задерживает или даже удерживает их от отправления по этапу. С 1827 по 1846 год через Москву прошло 153237 пересыльных заключенных, многие из них стали пациентами Гааза, получили его помощь и поддержку, помимо облегченных условий, обеспечивающих путь по Владимирке, издания Священного Писания, слова утешения.

Предпринятое Гаазом с риском утонуть в бюрократической, канцелярской трясине все же осуществлялось благодаря его энергии, решимости, он же был движим при этом сострадательным участием, сердечным теплом и любовью к арестантам, которые были для него – «несчастные». Так в России он принял народную точку зрения на них, ибо народ не отторгает их от себя, не

перекладывает с себя на них вину за совершаемое в мире зло, хотя преступник в глазах народа и не переставал быть преступником. Об этом писал впоследствии Достоевский.

Вообще преступники, «несчастные» и больные у Гааза всегда в тесной связи.

Сомневающийся нередко в действительной и абсолютной виновности приговоренных, Гааз, защищая их и прося облегчения, особенно для слабых и нездоровых, в ответ обычно на заседаниях комитета слышал: «закон есть закон». Известен подобный эпизод, когда московский митрополит Филарет ответил Гаазу, что невинно осужденных не бывает и если уж суд подвергает каре, значит, была и на подсудимом вина. Гааз вскочил и поднял руки к потолку: «Владыко, что Вы говорите? Вы Христа забыли!», имея в виду осуждение Его, невинного. Филарет, как известно, ответил: «Нет, Федор Петрович, я не забыл Христа, но когда я произнес поспешные слова..., то Христос обо мне забыл». Для Гааза было верным, и он всегда помнил: не человек для субботы, а суббота для человека.

Как врач он лечил телесные недуги, ставя, однако, лекарства на второй план. Простые и природные средства он сочетал с заботливым уходом, личностным участием в больном, пробуждая веру в восстановительное на того воздействие. Московские острияки подшучивали:

*Доктор Гааз уложит в постель,
Закутает во фланель,
Поставит фонтанель,
Пропишет каломель...*

Москва не забыла, когда во время эпидемии он христосовался с холерными больными, как поцеловал в больнице девочку с гниющим наполовину лицом от раковой опухоли.

А. Ф. Кони, говорил о глубоко христианском духе деятельности Гааза и его проникновении в каждую личность, сравнивал его время со временем филантропа англичанина Д. Говарда, озаменованное особым подъемом духа... «Христианство, требовавшее, чтобы каждый “узнал подобного себе – в убогом варваре, в

рабе”... выдвинуло на первый план человеческую личность, независимо от ее бытовых и племенных свойств... Как известно, в это время русская жизнь не отличалась здоровым характером. С одной стороны, существовало искусственное отвлечение от действительных потребностей и запросов жизни, развивалось бессодержательное и ничем в живой действительности не выражавшееся масонство, – истинная религиозность сменялась грубым и подчас весьма подозрительным, по своему источнику, мистицизмом... А с другой стороны – мрачная фигура Аракчеева бросала свою зловещую тень почти на все сферы жизни... военные поселения расплзались..., суд был сборищем “купующих и куплюющих”, осуществление крепостного права... приобретало особую устойчивость и бесконтрольность, а тюрьмы были в ужасающем состоянии»⁶.

Жизненные позиция и девиз Гааза, так глубоко поняты Достоевским, особенно, когда он видел в «единичной милостыни» «вопрос о личной свободе» («Идиот»), находили и философское выражение (врач-философ состоял, как известно, в оживленной переписке с Шеллингом). Вот некоторые мысли Гааза из его трудов, написанных по-французски.

«Медицина – королева наук... потому, что предмет ее забот – здоровье человека, а оно – условие, без коего в мире не может свершиться ничего великого, ничего доброго, и потому, что жизнь, как таковая; есть источник, цель и смысл всего на свете...» («Ma visite Eauх d’Alexandre»)

«Берегите свое здоровье... Оно необходимо, чтобы иметь силы помогать ближним, оно – дар Божий, в растрате которого без пользы для людей придется дать ответ перед своей совестью. Содействуйте, по мере сил, учреждению и поддержанию больниц и приютов для неимущих, для сирот и для людей в преклонной старости, покинутых, беспомощных и бесприютных... Если нет собственных средств для помощи, просите кротко, но настойчиво у тех, у кого они есть... Не бойтесь возможности

уничтожения, не пугайтесь отказа... Торопитесь делать добро! Умейте прощать, желайте примирения, побеждайте зло добром!» («Appel aux femmes»).

«Сознавать, что человек в своих помыслах зависим, что он есть раб того, что мы называем суммой внешних обстоятельств, вовсе не значит отказываться объективно судить о качестве какого-то явления или от признания абсолютной свободы воли, без которых человек – это прекрасное создание – был бы только жалким автоматом. Это значит лишь признать, как редко встречаются среди людей настоящие люди» («Ma visite aux Eaux d'Alexandre»).⁷ Гааз остался для Достоевского высшим воплощением врачевания, прежде всего, духовного.

Здоровье нации, духовное и телесное, писатель ставил во главу угла. Пациент из народа, врач, больница – в 1860-ые годы, ввиду реформируемого и обновляемого общества, проблема эта заострена Достоевским до предела, и как социальная, нравственная требующая практического решения. В его журналах «Время» и «Эпоха» появляются материалы, часто содержащие полемику, дискуссионность, допускающие общее, соборное участие в решении проблемы: Н. С. Лесков «Вопрос о народном здоровье и интересы врачебного сословия в России» («Время», 1862, № 2); П. Добычин «Врач и народ» (по поводу статьи Н. Лескова) («Время», 1862, № 5); И. Ч. «Заметки по поводу народного здоровья» («Время», 1862, № 9); Н. Соколовский «Больницы, их администрация и хозяйство» («Эпоха», 1864, № 1 и № 2).

Н. Лесков указывает на социальные препятствия в оздоровлении нации: народ в служащих медиках, обремененных многообразными обязанностями, видит не врачей, а чиновников, взяточников (их вознаграждение ничтожно – 190 р. в год), испытывает отвращение и к больницам и к госпиталям, и он, народ, не любит врачей за преследование самоучек, знахарей, лечащих домашними средствами и теплым словом, и которые живут одной с народом жизнью, и согласие между ними, по мнению Лескова, достижимо с миссионерской,

разъяснительной деятельностью. П. Добычин еще более усиливает духовный аспект проблемы: он считает реалистичным и необходимым соединением сельского священника и сельского врача в одну личность, приводя при этом живые примеры.

След Гааза напоминал писателю о себе не только во время его визитов в Москву, но и иначе: то во «Времени» Достоевский печатает воспоминания Е. Тур, то в «Русском вестнике» в 1868 г., в томе 78 рядом с публикацией IV части романа «Идиот» появляется очерк П. М. Лебедева «Федор Петрович Гааз».

В художественных произведениях Достоевского особую картину мира создают больные – чахоточные, увечные, горячечные, парализованные, эпилептики, истеричные, умалишенные. Приходят в этот мир и врачующие, такие, которые лечат недуги, болезнь, но не человека, или создающие лишь видимость врачевания, есть такие, кто убивает за лечением телесного, духовную личность; есть, хотя и не врачи, – истинные врачеватели, которые, как Мышкин, «к людям идет».

Распад личности г-на Голядкина, появление его двойника, происходит не в результате его сумасшествия; в его душе все готово для него, двойника, еще до того, как болезнь врывается в его жизнь. Петербург несет разрушение и утрату онтологических опор и обезличение, столица может быть запружена двойниками, «как вереницей гусей», что видится во сне Голядкиным... «Тут всеобщая смерть, тут человек пропадает, сам от себя человек исчезает» (1; 187) И вот ужасные, «как приговор», слова доктора Крестьяна Ивановича Рутеншпица, берущего на поруки больного Голядкина: «Ви получаете казенный квартир с дровами, с лихт и с прислугой, чего Ви недостойн», и «герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы! Он давно это предчувствовал!» (1; 229). Но формальная развязка не адекватна истории кризиса, раскола и незаместимости человека. Очевидно, поэтому «светлую идею», ничего серьезнее которой не проводил, видел писатель в этой своей ранней повести. Что касается доктора

Рутеншпица, то разделив его фамилию и прочитав в обратном порядке, можно получить: шпицрутен.

Раскольников с совершенным преступлением духовно, душевно не исчерпан и не однозначен. Потенциал его велик – так в романе и в подготовительных планах, по которым в его сознании возникает образ «Гаса», освещающий путь Раскольникова, путь другого и нового избранничества, равно и душевного выздоровления. «Неужели же я не могу сделаться Гасом?» «Ребенок? Кто мне запретит любить этого ребенка? Разве я не могу быть добрым?» (7; 80)

В «Идиоте» мировая ситуация предстает отчасти в апокалиптическом свете, когда иссякают «реки жизни», когда все на «мере», т. е. на счете, основано, и при этом, как замечает Лебедев, люди хотят и «сердце чистое» и «тело здоровое сохранить» (8; 168). Но болезненно искажается сама природа человека. Возникает сообщество мнимо здоровых и мнимобольных. В этот мир «искаженных идей и понятий», установившийся по законам и правилам и принятый как здоровый, приходят другие – как Настасья Филипповна, Мышкин. Настасья Филипповна чутко ставит диагноз больному обществу, и в момент, когда крушит его кумиры и идолы, сжигая, например, рогожинские сто тысяч, воспринимается всеми как больная. Генерал Епанчин: «Не сошла ли она с ума? То есть без аллегорий, а настоящим медицинским манером? И к тому же лихорадка...» (8; 123); «С ума сошла, с ума сошла!» – кричали кругом (8; 145). И, наконец, Мышкин, с душой ребенка («невинен») и умнее всех «главным умом», с любовью идет к каждой личности, и его воздействию поддается каждый, раскрываясь перед ним непосредственно и подлинно. Он воскрешает душу больной и истерзанной Мари, в позоре после изнасилования всеми попранной и отвергнутой. Она считала себя последней преступницей, а умирает «почти счастливая».

Врачевателем станет Мышкин для Настасьи Филипповны, но он бессилен перед

ее саморазрушением и неверием в восстановление – она верит до конца только в свою гибель. Образ Мышкина возник в «гаазовском» контексте, и это очевидно в подготовительных записях: «Главное социальное убеждение его, что экономическое учение о бесполезности единичного добра есть нелепость. И что всё-то, напротив, на личном и основано» (9; 227). Мышкин – идиот, когда-то лечившийся в швейцарской лечебнице. Его врач Шнейдер не задевает в подопечном и пациенте его личностное ядро и душу, почему, собственно, не может быть истинным врачом. И в итоге Мышкин, попадая окончательно в его клинику с грузом пережитого в человеческом социуме, не найдет исцеления никогда.

Есть в романе неизлечимые. Таков Ипполит, обреченный чахоткой на смерть через две недели. Но, главное, его вера в «равнодушную природу», которой он подчиняет всего человека, духовного в нем также, делает его действительно неизлечимым. Его отторгает жизнь, и он отторгает ее («Нельзя оставаться в жизни, которая принимает такие обижаящие меня формы» – 8; 311).

Замысел «Жития великого грешника» – о совершенном преступлении и воскресении человека в Боге, и его финал – духовный подвиг – обозначен опять под девизом «Гаса». «Кончает воспитательным домом у себя и Гасом становится. Все яснее» (9; 139).

В 1870-х годах появляется запись: «IV NB Сюжеты для романов.⁸ Мне хотелось бы изобразить твердого и умиленного человека. Знаете ли вы генерала Гаса (каторжные)» (22; 146). Контекст «Дневника писателя» придавал воображаемому герою гражданственный, общественный и, конечно, христианский дух. Прототип же его – Гааз, Достоевский вновь и вновь возвращался к нему. Фигурально говоря, был задуман, наконец, роман о Гаазе.

Ни в одном романе Достоевского, как в «Братьях Карамазовых», нет такой универсальной картины мира, мира больного, мира антропофагии, столь нуждающегося в исцелении. Этот мир

«надрывов» – в социально открытой перспективе, стремящейся в универсу: «надрыв в избе», «надрыв в гостиной», «и на чистом воздухе», но этот мир таит радость и Благодать. Доносят ее идущие к людям целители. Они сами порой появляются из болезненной, искаженной жизни, мрака страстей, как в «карамазовской семейке», и здесь, от жертвенной матери-кликуши и рожден Алеша Карамазов, этот «ранний человеколюбец». Он уже на пороге из монастыря, чтобы вступить в гущу этой болезненной жизни, и он со всей самоотверженностью проникается недугами окружающих: нравственным («Господи, сохрани их, несчастных и бурных», – такова его молитва. 14; 147), телесным («Я вас сам буду в кресле возить», – говорит он парализованной Лизе Хохлаковой – 14; 167)

От старца Зосимы ходюки «жаждут совета и врачебного слова», от которого «самое мрачное лицо обращалось в счастливое» (14; 28). Зосима воскрешает душу больной, внушая веру в чудо, происходит религиозное подведение к дарам, пусть физическое выздоровление достигается «только на минуту» (14; 44). Но в «Братьях Карамазовых» заключена и глубокая драма жизни. К больному Илюшечке Снегиреву только перед смертью с целительным воздействием на него Алеши Карамазова и друзей-мальчиков приходят минуты радости и душевного выздоровления после перенесенных недетских впечатлений от обид и оскорблений. Только в гробу мертвое его личико приняло ангелоподобие,

свободное уже от озлобления и надрыва, какими была его недолгая детская жизнь. В ней же остались псевдоцелители, как приглашенный врач, «московская знаменитость», рекомендующий нищему отцу отвезти сына на лечение в Сиракузы (это тоже своего рода «приговор» человеку, как в «Двойнике»). И из области «кошмара» Ивана Карамазова в пародийном свете выступают деятели «современной медицины», специалисты, лечащие «левую ноздрю» и «правую ноздрю» отдельно, отвлекаясь от человека.

Но врачующий гений Достоевского все более заявлял о себе в последнем романе.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цитирую по книге: *Достоевский Андрей*. Воспоминания. М.: Аграф, 1999. С. 354.

² ГИМ ОПИ. Ф.17. Ед. хр. 6.

³ Подробнее об этом: *Пономарева Г. Б.* Не «облегчаемое» детство Федора Достоевского // «Педагогика» Ф. М. Достоевского / Сб. ст. под ред. В. А. Викторovichа. Коломна: КГПИ, 2003.

⁴ Трудно согласиться с утверждением, что Достоевский слышал о Гаазе лишь на каторге в Сибири (так в комментарии в академическом издании, т. 7, с. 404)

⁵ *Время*. 1862. № 6. С. 64.

⁶ *Кони А. Ф.* Федор Петрович Гааз. Биографический очерк. СПб., 1897. С. 7, 10, 11.

⁷ Цитирую по книге *Кони А. Ф.*, с 159 – 160.

⁸ По датировке В. А. Викторovichа, этот набросок относится к периоду «Гражданина», т. е. к 1873 г. См.: *Викторovich В. А.* Повесть Ф. М. Достоевского об учителе: реконструкция замысла // «Педагогика» Ф. М. Достоевского. С.127.